
JIM FERGUS

MARIE-BLANCHE

a novel

Le Cherche-Midi
Paris

Памяти

Уильяма Додда Фергюса

24 июня 1909 г. — 23 марта 1966 г.

Уильяма Гая Леандера Фергюса

11 сентября 1941 г. — 27 июля 1947 г.

Мари-Бланш де Бротонн Фергюс

7 декабря 1920 г. — 12 марта 1966 г.

Мари и Изабелле, любви моей жизни

Мари Линн Тудиско

6 июля 1956 г. — 31 июля 2008 г.

Что проку оплакивать части жизни; она вся взывает
о слезах.

*Луций Анней Сенека.
Нравственные письма к Луцилию, т. II.
Об утешении*

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива по-своему.

Лев Толстой. Анна Каренина

Что до меня, то я не счастлив и не несчастлив; точно
волосок или пушинка я парю в туманах воспоминаний...
Утешение от работы, какую я делаю своим разумом
и сердцем, заключается в том, что только *там*, в безмолвии
художника или писателя, реальность можно переделать,
переработать... Ведь нас, художников, ожидает там
радостное примирение через искусство со всем, что ранило
или уничтожало нас в повседневной жизни; таким путем
уйти от судьбы невозможно... однако возможно свершить
ее в истинном ее потенциале — воображении.

Лоренс Даррелл. Жюстина

Смерть крадет все, кроме наших историй.

*Джим Харрисон.
Из стихотворения Larson's Holstein Bull*

ОТ АВТОРА

Хотя в этой книге много реальных имен и правдивых историй, подлинных исторических фактов и событий, вместе с тем она — художественное произведение, роман, плод воображения. И многие персонажи, в том числе и сам автор, хотя и списаны с реальных людей, являют собой вымышленные образы и могут либо не могут иметь сходство с реальными — живыми или умершими — людьми, на основе которых выстроены их характеры. Вместе с «фактами» автор позволил себе и много других подобных вольностей.

*Джим Фергюс
Ранд, Колорадо
Октябрь 2010 г.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Осенью 1995 года, в конце ее долгой жизни, я поехал навещать бабушку, Рене де Фонтарс Маккормик. Было ей тогда 96 лет, и жила она в Лейк-Форесте, штат Иллинойс, вместе с супружеской четой по имени Вернон и Луиза Паркер, которые заботились о ней последние десять лет ее жизни. Раньше Луиза служила экономкой у моего дяди, сына Рене, Тьерри, или Тото, как его обычно звали. Муж Луизы, Вернон, сорок четыре года вплоть до пенсии работал начальником отдела в крупной фармацевтической компании. Эти Паркеры — прекрасные, достойные люди; скромные, бережливые, трудолюбивые представители среднего класса — превосходно заботились о моей бабушке. В шутку Вернон называл свою жену Луизу «системой жизнеобеспечения Рене», и, по-моему, нет ни малейшего сомнения, что именно их самоотверженная забота изрядно продлила бабушке жизнь. Пока она еще могла, они вместе с ней ездили в Европу, по Соединенным Штатам, в круизы по Карибскому морю, — ведь в жизни моей бабушки путешествия всегда были одним из величайших удовольствий. Даже когда болезнь Альцгеймера стала мало-помалу стирать ее личность, они все равно возили ее в круизы. А позднее, когда она окончательно утонула в недостижимых безднах этого недуга, они забрали ее к себе и продолжали ухаживать за ней, не отправили в специальное заведение. Я совершенно уверен, что они искренне любили ее. Хотя, по правде говоря, любить бабушку было непросто. И пожалуй, можно твердо сказать, что

кончину Рене (она умерла примерно год спустя) никто из членов ее семьи — ни сын, ни внуки — не оплакивал. Только Паркеры.

Оказавшись проездом в Чикаго, я тогда заехал в Лейк-Форест навестить могилы родителей и брата. Я вырос в этом городе, но за без малого тридцать (а теперь за сорок с лишним) лет после смерти родителей бывал там считанные разы. И приезжал всегда по одной и той же причине — проведать их могилы, которые, конечно, в дополнение к историям, суть все, что в итоге остается нам от наших покойных близких, последнее подтверждение их бытия, а мы — последние свидетели. И сколько же утешения черпаем мы в этом постоянстве, убеждаясь, что они всегда будут именно там, где мы их оставили, и встретят нас снова.

Сам Лейк-Форест занимал в моей памяти отчасти печальное место, и этот последний визит опять-таки пришелся на осень, сезон умирания. Мало что на свете печальнее осеннего кладбища на Среднем Западе. После смерти моя семья далеко не уехала, кладбище расположено всего в нескольких кварталах от нашего старого дома, на высоком обрыве, откуда открывается вид на озеро Мичиган, и утопает в пышной зелени и тени огромных старых вязов и кленов.

Отыскать семейный участок оказалось непросто — лишнее подтверждение, что я очень давно здесь не бывал, а вдобавок от роду плохо ориентируюсь. Чувствуя себя довольно глупо, я бродил по кладбищу, читал надписи на могилах других семей и искал своих. «Не будь твоя голова крепко прикручена, Джимми, — как наяву слышал я голос отца, — ты бы ее потерял».

Пока искал, я видел много надгробий с именами тех, кого ребенком знал в Лейк-Форесте, в том числе родителей, дедов и бабушек иных давних друзей, с которыми за долгие годы потерял связь. Я испытывал сожаление, но почему-то и легкое удивление, что столь многие из этих людей ушли из жизни. Так странно после долгого отсутствия вернуться домой, в места детства, словно бы ожидая, что там все по-старому, как было до отъезда, — давние



друзья по-прежнему дети, едущие на великах в школу, их родители и деды с бабушками по-прежнему живы и гостеприимны, все живут, как жили раньше, в некоем лимбе с искривленным временем, куда мы сейчас вступаем.

В конце концов я с немалым чувством облегчения нашел свою семью: три плоских непритязательных камня — слева отец, посередине брат, справа мать. Насколько я знал, никто, кроме меня, их не навещал, и у меня всегда было ощущение, что они рады видеть меня, что и они тоже терпеливо ждали моего возвращения и не обижались, что приезжаю я так редко. Радость, смешанная с легкой печалью, — это воссоединение живых с мертвыми, с костями и прахом, умиротворенно и навеки упокоенными в земле.

Навестив семью, я поехал к дому Паркеров повидать бабушку. Луиза провела меня в гостиную, где в кресле-качалке с пледом на коленях сидела Рене. Они подняли ее с постели, по случаю моего приезда одели в теплую ночную рубашку и тапочки, и я невольно отметил, что она привязана к креслу сложной системой из Верноновых галстуков.

— Она теряет контроль над мышцами, — объяснила Луиза, прежде чем я успел спросить. — И по-прежнему больше любит сидеть здесь, а не лежать весь день в постели. Мы думаем, так для нее лучше. Но если не привязать, она постепенно сползает с качалки.

Я не видел бабушку несколько лет, последний раз она была еще более-менее в сознании, и сейчас меня поразило, как сильно она с тех пор уменьшилась. И без того миниатюрная женщина стала совсем крохотной, не больше ребенка. Она почти облысела, осталось лишь несколько прядок тонких седых волос, и достопочтенный высокий лоб сделался еще внушительнее. Но в ходе этого финального возвращения в прах она оставалась странно красивой, кожа туго обтягивала череп, глаза в провалах глазниц были огромными и блестящими, с тяжелыми веками.

— Рене, посмотрите, кто приехал! Ваш внук Джимми! — крикнула Луиза, будто бабушкин альцгеймер не более чем тугоухость. И пояснила: — Она уже не говорит, но мы думаем, она пока что нас понимает. Поздоровайтесь с Джимми, дорогая! Возьмите ее руку, Джимми, и поздоровайтесь, чтобы она знала: вы здесь.

Ничего не поделаешь, пришлось участвовать в спектакле, хотя было совершенно ясно, что мозг бабушки более не воспринимает все эти сигналы.

— Здравствуй, мамй! — гаркнул я. (В детстве мы всегда называли ее «мамй», по-французски «бабуля».) — Это я, Джимми, твой внук! — Я хотел взять ее за руку, но не решался: кожа у нее была тонкая и сухая, как рисовая бумага, почти прозрачная, и мне казалось, что, как бы легко я ее ни коснулся, она рассыплется в прах.

— Да, могу сказать, она очень рада, что вы приехали! — оптимистически сказала Луиза. — Мы с Верноном подумали, что, пока вы тут общаетесь, мы могли бы вместе отлучиться по делам. Нам такое удастся нечасто, ведь кому-то из нас всегда надо остаться дома с Рене.

Должен заметить, и в лучшие времена отношения между мной и бабушкой нельзя было назвать близкими, а уж в нынешних обстоятельствах «общение» казалось особенно затруднительным. Однако я не мог лишить Паркеров редкой возможности выйти из дому вдвоем.

— Конечно, Луиза, — ответил я, — действуйте. Я охотно посижу с ней. Мне требуются инструкции?

— Она в памперсах, так что насчет этого можно не беспокоиться, — сказала Луиза. — Просто поговорите с ней, Джимми. Она не ответит, но ей нравится звук людских голосов. Она ведь никогда не любила одиночества, верно? Мы ненадолго.

И вот под вечер, осенью в Северной Иллинойсе, мы с Рене остались одни в гостиной у Паркеров. Я прочистил горло и, неловко кивнув, сказал:



— Ну что же, мами, приятно снова повидать тебя, отлично выглядишь.

Станным образом сейчас, обращаясь к живой бабушке, я чувствовал себя куда скованнее, чем раньше на кладбище, когда говорил с давно умершими родителями и с покойным братом, которого никогда не знал, с их навеки шестилетним сыном.

Я наклонился поближе к Рене, стараясь разглядеть, нет ли с ее стороны намек на узнавание, на искорку, пробежавшую меж одним-двумя нейронами в ее безнадежно закороченном мозгу. Пожалуй, втайне я даже надеялся на краткий проблеск ясности, один из тех мигнов просветления, что случаются в фальшивых телефильмах, когда больной альцгеймером внезапно выходит из ступора, произносит что-то глубоко серьезное и целительное для семьи, а затем вновь погружается в бездну. Но моя бабушка определенно находилась уже за этой гранью.

Возможно, вы полагаете, что любой мало-мальски зрелый мужчина средних лет мог бы найти в своем сердце силы простить древнюю скорлупку, оставшуюся от этой женщины под конец ее долгой жизни. Но в тот миг, глядя на Рене, я осознал, насколько велика до сих пор моя обида, даже ненависть к ней. Все минувшие годы я винил ее в смерти моей матери, был на нее в обиде за то, что она пережила свою дочь более чем на четверть века, за пренебрежительное отношение к моему отцу и за многие другие ссадины и раны, осознанные ли, нет ли, — словом, за все, что Рене за много лет причинила своей семье и другим. Какое она имела право жить так долго, с горечью думал я, если испортила и разрушила жизни столь многих в своем окружении? Вся давняя детская злость вновь желчью подкатила к горлу, я опять стал обиженным мальчуганом, который таится в каждом из нас, независимо от возраста. И меня охватило ребячливое и смущающее чувство уверенности, что этот крошечный скелетик — все, что осталось от некогда столь грозного существа, от женщины, которая в своей жизни властвовала и манипулировала столь многими людьми.

— Ты слышишь меня, мам? — сказала я, наклонясь к Рене с дивана и стараясь заглянуть в ее затуманенные глаза. Придвинул лицо поближе, шепнул ей на ухо: — Знаю, ты там, — и устыдился злости, какую по-прежнему к ней испытывал. — Я хочу кое-что тебе сказать. Хочу сказать, что ты разрушала жизнь каждого человека, с которым соприкасалась. Каждого. А теперь, в конце, привязана галстуками к качалке, носишь памперсы, и на свете не осталось никого, кто тебя любит. — Я чувствовал щекой ее горячее дыхание, чуял сладковато-кислый запах тлена, смерти.

— *Это неправда. Вернон и Луиза любят меня, посмотри, как хорошо они заботятся обо мне.*

— Никто по-настоящему тебя не любил, никогда, мам. Ты покупала людей, чтобы они заботились о тебе. Все они были просто платными компаньонами. Как Паркеры. Всю твою жизнь. Сделка за сделкой. Даже с собственной семьей.

— *Ты ничего не знаешь о моей жизни. Папá любил меня. И дядя Габриель.*

— А ты никогда никого не любила.

— *Неправда. Я любила папá, любила дядю Габриеля. Он — единственный мужчина, которого я любила по-настоящему. И я любила твоего брата Билли. Очень любила этого мальчугана.*

— Ты использовала людей, а если они тебя разочаровывали — если не поступали в точности так, как ты желала, — ты их отшвыривала за ненадобностью.

— *Да, люди часто меня разочаровывали.*

— Так ты отшвырнула свою дочь. Даже родную дочь ты никогда не любила.

— *Мари-Бланш стала для меня огромным разочарованием.*

— Ты отреклась от нее.

— *Она отреклась от меня. Ей не следовало выходить за этого неотесанного мужика. Я ее предупреждала. Она загубила свою жизнь, когда сбежала с твоим отцом.*

— Ты оставила ее умирать в одиночестве.

— Таков ее выбор. Твоя мать была слабой женщиной.

— Знаешь, никто из нас не любил тебя. В самом деле, ты даже симпатии у нас не вызывала. Мы терпеть не могли твои визиты.

— Вы все боялись меня. Твой мужиковатый отец и тот боялся.

— Мама страшно тебя боялась. Начинала пить за неделю до твоего приезда, так что, когда ты являлась, она уже была никакая.

— Мари-Бланиш была слабая и глупая девчонка. Я не раз ее предупреждала.

— Помню, как ты вечно переставляла у нас в доме всю мебель, когда приезжала. После твоего отъезда приходилось расставлять все по местам. Вдобавок ты всегда привозила с собой противных собачонок. Мы переселяли своих собак в конуру, чтобы устроить твоих.

— Я любила своих собак.

— Да, их ты любила больше, чем собственную дочь и внуков.

— Собаки никогда не разочаровывают.

— Что сделало тебя такой?

— Поздно вато спрашивать меня об этом сейчас, не правда ли?

— Я бы спросил раньше, будь у меня возможность. Но в ту пору ты бы вряд ли мне рассказала.

— Ты ничуть не интересовался ни мной, ни моей жизнью. Все, что интересовало моих внуков, это мои деньги. Один только Билли искренне любил меня. Я просто обожала этого мальчугана.

— Помнишь, как я приезжал к тебе в Париж, когда мне было девятнадцать? В шестьдесят девятом, помнишь, в тот год, когда я учился в Гренобльском университете? Всего через три года после смерти мамы. Я вправду надеялся наладить с тобой отношения. Нуждался в этом. Но не представлял себе, как это сделать, потому что знал, ты меня недолюбливаешь, и так было всегда. Не знал почему и никогда не смел спросить.

— После смерти твоего брата Билли я не могла позволить себе любить кого-нибудь из других внуков. Я бы не вынесла, если б мое сердце еще раз вот так разорвалось.



— Я помню одну фотографию из наших семейных альбомов. Ее сделали во время войны. Папа тогда служил в армии, мама и Билли жили с тобой и Леандером в Нью-Йорке. На фото ты и Билли сидите на бортике фонтана у отеля «Плаза». Ты обнимаешь его. Помнишь? Конечно, это было задолго до моего рождения. Но помню, ребенком я рассматривал этот снимок и думал, почему ты никогда не обнимала меня вот так. Всегда была такая холодная, безучастная.

— Если бы Билли не умер, ты бы не родился. Твои родители больше не собирались заводить детей. Этого я тебе не простила.

— Хотелось бы мне, чтобы мы тогда попытались узнать друг друга. Чтобы я имел возможность расспросить тебя о твоей жизни. У меня сейчас так много вопросов. Но знаешь, мами, в том возрасте молодым людям не очень-то интересна жизнь их бабушек. Вдобавок я, конечно же, ненавидел тебя.

— Да, знаю. Единственная причина, по которой ты навещал меня в Париже, это пять сотен франков, которые ты каждый раз получал от меня.

— Тогда я навещал тебя в Париже лишь потому, что каждый раз ты давала мне пятьсот франков. А когда ты уходила вечером спать, я брал такси, ехал на улицу Сен-Дени и тратил твои деньги на проституток.

— Да, я чуяла вонь их дешевых духов, когда ты возвращался в квартиру. Она напоминала мне об отце в ту пору, когда мы жили в «Двадцать девятом». Он всегда ночи напролет куролесил с танцовщицами и куртизанками, и я чуяла его запах, когда он под утро возвращался домой, — запах сигар, коньяка и дешевых духов. Мне всегда нравилось просыпаться от этого запаха и знать, что папá дома.

— Знаешь, от тебя теперь даже для ненависти почти ничего не осталось, но, к своему стыду, должен сказать, что по-прежнему тебя ненавижу. Я бы хотел простить тебя. Хотел бы, чтобы ты все мне объяснила.

— Я не нуждаюсь в твоём прощении. И не обязана ничего объяснять.

— Молодежь живет, крепко вцепившись в настоящее. Только по достижении определенного возраста у нас возникает интерес к жизни наших родителей и дедов. А тогда обычно уже слишком поздно.

Злость внезапно развеялась, и я откинулся на спинку дивана с тем ощущением пустоты, какое обычно оставляет безобразная семейная ссора. Мы сидели в молчании, меж тем как в гостиную Паркеров мало-помалу нисходили сумерки Среднего Запада. Я не дал себе труда включить лампы.

— Что ж, мамы, — наконец сказал я. — Я ничего о тебе не знаю, но рад, что мы поговорили откровенно. Жаль, этот разговор не состоялся у нас давным-давно.

Несмотря на Верноновы галстуки, Рене начала сползать с качалки. А я боялся усадить ее как следует — вдруг поломаю хрупкие кости.

Не знаю, долго ли мы так сидели в густеющих сумерках и в молчании, но в конце концов по окну гостиной скользнул свет фар — Паркеры свернули на подъездную дорожку. Луиза вошла в дом первой, из гаража.

— Почему вы сидите впотьмах, Джимми? — спросила она, включая свет. — Все в порядке?

— Конечно, Луиза, — ответил я, жмурясь от внезапного света, — все хорошо.

— Как прошло?

— Отлично. Мы очень мило пообщались... мило поговорили... хотя, боюсь, говорил главным образом я.

Она рассмеялась:

— Да, вот так теперь обстоит дело с вашей бабушкой. Но мне кажется, она понимает куда больше, чем мы думаем.

— Я не так уверен. По-моему, она почти все время спала.

— Ей трудно держать глаза открытыми, — сказала Луиза. — Она теряет контроль над мышцами. Но понимает, что вы здесь. И слышит вас.

— Приятно так думать, что ни говори, — согласился я.

— Вернон, — сказала Луиза мужу, который как раз вошел в комнату, — усади Рене как следует, она съезжает.

— Я бы сам усадил ее, — сказал я, — но побоялся сделать ей больно.

Вернон бережно подхватил бабушку под мышки.

— Ну вот, Рене, — сказал он мягким ласковым голосом, усаживая ее в качалке, как ребенок тряпичную куклу. — Ну вот. Так ведь удобнее, а?

Снова меня поразили эти милые самоотверженные люди, заботившиеся о старой женщине, которая им даже не родственница, тогда как собственная ее семья просто ждала, когда она умрет.

— Пойду, пожалуй. Пора в путь. — Я встал. — Спасибо, что вы так заботитесь о бабушке. Постараюсь при первой возможности заехать еще раз.

Но думаю, мы все знали, что живой я ее больше не увижу.

— Попрощайтесь с Джимми, Рене! — крикнула Луиза. — Он уезжает!

Настала неизбежная неловкая минута: я понимал, что из приличия, ради Паркеров, должен на прощание поцеловать свою скудельную престарелую бабушку. Что говорить, мы и в лучшие времена не были любящей семьей. Однако из чувства долга я склонился к крошечной хрупкой старушке, которая словно бы сжималась у меня на глазах, с каждой секундой исчезала с лица земли, и теперь от нее только и осталось что скорлупка кожи да ветхие кости. Я поцеловал ее в обе щеки, сухие как бумага.

— До свидания, мам. Я все-таки тебя прощаю, — шепнул я ей на ухо и снова почувствовал на лице ее легкое дыхание.

— Я не нуждаюсь в твоём прощении.

— Нет, нуждаешься.

ПРОЛОГ
МАРИ-БЛАНШ



Лозанна, Швейцария
Март 1966 г.

В детстве я жила в заколдованном замке, полном призраков и фей. Назывался он Марзак и был воздвигнут в течение XII, XIII и XIV веков на вершине холма над деревней Тюрзак, с видом на реку Везёр во французском Перигоре. Владел Марзаком мой отчим, граф Пьер де Флёрё, второй из трех мужей моей матери Рене, замок принадлежал его семье на протяжении поколений. Дядя Пьер говорил, что во время Столетней войны Марзак поочередно захватывали то французы, то англичане, то опять французы, и что за сотни лет там умерли сотни, если не тысячи людей, многие насильственной смертью, когда замок осаждали враги. Еще дядя Пьер говорил, что мальчиком, подрастая здесь, он тоже чувствовал в замке присутствие призраков и фей, которые являются только детям.

В собственном моем детском воображении я не делала различий меж этими призрачными обитателями, знала только, что все они сообща жили там в холодном сыром воздухе и тусклом свете, их дýхи пропитывали древние каменные стены, неслышно двигались в озаренных свечами коридорах, с холодными сквозняками взлетали вверх по широким винтовым лестницам башен, где мягкий песчаник столетиями стирался, запечатлевая их земную поступь, — неспешный процесс эрозии, в котором участвовали и мои собственные детские шаги. В лабиринте помещений эти духи кружили подле меня, дышали и вздыхали, смеялись и плакали, любили и сражались, восемь столетий их воспоминаний в жизни замка столь же ощутимы, сколь и физическое присутствие моей семьи.

И все же Марзак, хотя и видел столько жизней и смертей, не был ни печальным, ни мрачным. И не внушал детям страх. Как раз наоборот, я помню, что мои парижские друзья и подружки, проводившие у нас уик-энд, перед отъездом целовали стены, как бы прощаясь с милым старым другом.

Сейчас, сорок с лишним лет спустя, я нагишом стою на балконе своей маленькой квартиры на пятом этаже маленькой



гостиницы «Флорибель» в швейцарской Лозанне. И те давно минувшие времена вспоминаются мне как самые счастливые в моей жизни. Я помню гулкое эхо своих шагов, когда легко взбегала по каменной винтовой лестнице на верхушку башни, где, если глянуть за парапет, открывался вид на просторную зеленую долину внизу, на излучистую реку, на хлебные поля и темные леса вдаль. Скалы над рекой были изрыты пещерами и гротами, которые мы, дети, с восторгом исследовали. Дядя Пьер говорит, что тысячи лет назад, задолго до постройки замка, в этих пещерах жили древние люди. Дети не в состоянии осознать такой промежуток времени, но мы видели рисунки троглодитов — изображения давно вымерших животных, до сих пор украшающие стены пещер, и понимаем вполне достаточно, чтобы при взгляде на это древнее искусство по коже бежали мурашки. В своих играх мы воображаем людей в звериных шкурах, сидящих у костра; стена пещеры, где они жарят добычу, по сей день черна от копоти. Все это могло быть вчера, и, возможно, они вернуться, а возможно, некоторые до сих пор живут здесь. Всякий раз, когда мы находим новую пещеру, сердце замирает — а вдруг там внутри троглодиты ждут нас к ужину, — и все подзадоривают один другого войти первым.

По другую сторону сказочной башни я вижу в долине деревню Тюрзак и представляю себе, как крестьяне смотрят на меня в моей башне слоновой кости на выступе высокого холма. Я принцесса, принцесса Марзака, как зовет меня дядя Пьер. Наверно, здешний народ ужасно завидует моей сказочной жизни.

Сейчас я, изнывая от волнения, наблюдаю, как «ситроен» дяди Пьера, доставляющий моих гостей и их багаж со станции Лез-Эзи, взбирается по извивам дороги к замку. Мои друзья высовываются из окон автомобиля, тоже смеющиеся и взволнованные. Я машу им с башни, но я настолько мала на фоне огромной каменной твердыни, что они меня пока не видят.

Но я все равно машу, весело смеясь и предвкушая дни приключений и игр. Я так высоко, на вершине мира. Как я попала оттуда сюда?

Внизу, на мостовой и на тротуаре у моей лозаннской гостиницы, на деревьях и на крышах припаркованных машин, разбросана моя одежда, вся, какая у меня есть, я выкинула эти вещи с балкона, одну за другой. В моем пьяном угаре и при свете полной луны они являют собой странно радостное зрелище, этакий лоскутный коллаж из форм и красок; платья, юбки, блузки моих любимых ярких оттенков, брюки, бюстгалтеры и трусики, ремни, туфли и чулки — все веселыми гирляндами развешено-разбросано вокруг, словно декорация вечеринки в сумасшедшем доме. Середина ночи, а может, раннее утро, улицы безлюдны, и, признаться, я слегка разочарована, что никто не видит, как я выбросила свои земные пожитки, не видит, как они украшают улицу.

Кстати, я совершила сей акт не впервые — последний раз накануне позапрошлого Рождества, с балкона седьмого этажа чикагской гостиницы «Дрейк». Той ночью, когда город сиял огнями, которые, искрясь, отражались в холодных водах озера Мичиган, — той ночью внизу, на заснеженной улице, собралась целая толпа любопытных зевак поглазеть, как пьяная голая психопатка бросает с балкона свою одежду. Они смеялись, показывали на меня пальцем, подзадоривали, кто-то крикнул: «ПРЫГАЙТЕ К НАМ! ПРЫГАЙТЕ!», меж тем как мои пожитки опускались к ним, словно маленькие парашюты, рождественские подарки для моей благодарной публики. Наиболее предприимчивые и спортивные зрители подпрыгивали, стараясь поймать вещи, пока те еще не коснулись земли, другие препирались из-за того, что уже лежало на земле, — точно соперники-покупатели на послерождественской распродаже в «Маршалл Филдз». Шмотки-то у меня симпатичные.

В конце концов гостиничный управляющий и сотрудник службы безопасности вошли в мой номер, отперев дверь



универсальным ключом. Они выманили меня с балкона враньем и лживыми обещаниями выпивки, увезли прочь, и остаток праздников я провела в психиатрическом отделении больницы «Пассавант».

На следующий день в больницу приехал мой муж Билл вместе с нашими двумя детьми, Джимми и Леандрой. «Счастливого Рождества, мама», — прошептал мой застенчивый четырнадцатилетний сын Джимми и тотчас смутился от собственных слов, от крайней их неуместности. «Да, мама, — добавила более циничная шестнадцатилетняя Леандра, и голос ее был полон юношеского сарказма, — счастливого Рождества». Девчонка ненавидит меня, и кто ее осудит?.. Я была ужасной матерью в длинном ряду ужасных матерей.

Но сегодня улицы внизу тихи, безлюдны, а с балкона открывается прекрасный вид на Женевское озеро, на другом берегу которого я вижу сияющий огнями французский Эвиан. Да, сейчас 3.00 ночи 12 марта 1966 года, и мне, Мари-Бланш Габриель Морисетте де Бротонн Маккормик Фергюс, сорок шесть лет. Я пьяна и раздета догола. Всю одежду я выбросила с балкона. Позднее, когда протрезвею, я очнусь в больнице, или в той клинике, откуда попала сюда, или в тюрьме — чувствуя тошноту и полная раскаяния. И в памяти сотрутся все воспоминания и о происшедшем, и о его причинах. Причины будут искать докторá. За минувшие годы я перевидала десятки докторов, и объяснения их всегда неадекватны. Мне хочется сказать им: «Но вы же ничего обо мне не знаете», — только вот обычно я слишком скверно себя чувствую, чтобы сделать такое усилие. А если и делаю, все они отвечают в одной и той же нестерпимо снисходительной манере: «Ну что ж, пожалуйста, расскажите мне о себе».

«Хорошо... хорошо, — говорю я, — но история весьма долгая. Можно мне сперва выпить? А потом я расскажу вам все-все, что вы хотите знать».

Однако сейчас, холодным мартовским утром, когда я смотрю на блестящую гладь Женевского озера и огни Эвиана на том берегу, все становится на свои места, раз и навсегда. С превратной ясностью пьяного рассудка я вижу неизменную линию своей жизни: от наблюдательного пункта высоко на башне Марзака, откуда открывался вид на зеленую долину реки Везер, до чикагской гостиницы «Дрейк» над озером Мичиган и до этого балкона на пятом этаже гостиницы «Флорибель» над Женевским озером — я знаю, откуда пришла, почему нахожусь здесь и куда уйду. Знаю, почему сбрасываю с балкона всю свою одежду и что сброшу затем.

Издавна говорят, что в предсмертные мгновения перед нами проносится вся наша жизнь, ускоренная история, как бы рассказанная в детской книжке-раскладушке. Но это, конечно же, неправда, так быть не может, ведь чего ради просто повторять в последние мгновения все, что нам уже известно, уже пережито? В любом случае подлинная история наших жизней начинается не с нашего собственного рождения. Нет, нам необходимо вернуться намного дальше вспять, проплыть против течения по древней реке пуповины, по материнскому току жизни, что связует нас сквозь поколения, насыщая пищей, а равно и всей давней семейной болью и отравой. И теперь я, странница, нагая, свободная от всех уз, летящая через пространство, падающая к земле, совершаю этот путь.

КНИГА I
РЕНЕ



1899–1922

Ла-Борн-Бланш
Орри-ла-Виль, Уаза, Франция

Июль 1899 г.

1

Рождение моей матери, малютки Рене, было окружено некой тайной, слухами, о которых слуги долго перешептывались: мол, ее будто аист принес в Ла-Борн, маленький, декоративный замок ее семейства в городке Орри-ла-Виль на равнинах французского Санлиса. Младенца всего нескольких часов от роду, в сопровождении кормилицы, привез в карете из Парижа старый Ригобер, преданный семье кучер. Лошади галопом промчались в ворота замка, железные ободья колес громыхали, выбивая искры из мощенной булыжником дорожки, а случилось это безлунной ночью в последний день июля 1899 года.

Говорили, что отец, граф Морис де Фонтарс, встречал карету во дворе и, едва кормилица вышла из нее, тотчас осмотрел ребенка, которого она держала на руках.

— Это что... *что* вы мне привезли? — якобы прогремел он. — Доктор уверял, что у этой женщины будет мальчик. Я хочу знать: где у моего сына пенис?

«Женщиной», о которой столь холодно упомянул граф, была, вероятно, некая Элоиза Лафарж, парижская балетная танцовщица, «крысенок», как называли представительниц ее профессии, проститутка, куртизанка и одна из несчетных любовниц графа.

— Увы, доктор ошибся, господин граф, — отвечала кормилица. — Как видите, мадемуазель родила девочку.

В подтверждение этой истории, конкретно этой версии рождения Рене, отмечали, что до ее «появления» мать и отец, граф и графиня, состояли в браке уже пять лет и с самого начала союз



их был без любви, устроен родителями. Говорили, что графиня согласилась на тайное удочерение, чтобы обеспечить мужу наследника и чтобы ей более не приходилось терпеть его безуспешные еженедельные попытки зачать с нею сына; ради вящей достоверности она изображала беременность и еще за несколько месяцев до «родов» улеглась в постель. И городскую повитуху, мадам Руо, которая за соучастие и за молчание получила от графа огромную сумму в десять тысяч франков, ранее в тот вечер вызвали в замок, согрели воду, отнесли наверх полотенца, а «схватки» у графини начались, как раз когда карета с новорожденным младенцем выехала из Парижа.

Вдобавок говорили, что после того как граф, обнаруживший, что у него дочь, а не сын, который был так ему нужен, оправился от первоначального шока, он спрятал младенца у кормилицы под плащом и проводил ее на второй этаж, в комнату графини. Слугам просто сказали, что кормилицу наняли по распоряжению доктора, так как графиня слаба и кормить младенца не может, — среди тогдашней аристократии это было совершенно в порядке вещей. В комнате «роженицы» мадам Руо довершила хитроумный спектакль, распеленав младенца и шлепнув по попке, так что девочка громко закричала, словно бы родилась второй раз.

И наконец, шушукались, будто мать Рене, графиня де Фонтарс, урожденная Анриетта Буте, увидев свое дитя, сказала вот что:

— Но этот ребенок никак не может быть моим. Моя дочь была бы не такой толстой и более светлокожей. А эта слишком чернявая, слишком пухлая, с виду сущая крестьянка... — Она посмотрела на повитуху, мадам Руо, и высокомерно добавила: — Либо вы, мадам, приняли не того младенца... — тут она повернулась к мужу, графу: — ...либо вы, Морис, связались с цыганкой.

Вот такая легенда ходила в городке о рождении Рене, история, которая с годами обросла подробностями и, возможно, была всего лишь досужей сплетней, какие любят сочинять крестьяне, чтобы низвести знать, чья привилегированная жизнь для них



недоступна, до уровня обычных людей. Одна только я, ее дочь, Мари-Бланш, храню правду в своей генетической памяти.

Подрастая, Рене сама слышала шушуканья прислуги и в детстве находила весьма романтичным, что настоящей ее матерью, вероятно, была балерина, а не эта высокая, стройная, бесстрастная графиня, которая почти не обращала на нее внимания. Большую часть времени графиня проводила в своей комнате одна; она вообще не любила детей, из принципа, полагая, что гувернантка обязана предъявлять их родителям дважды в день, для короткой проверки на предмет чистоты и надлежащего поведения, после чего им должно возвращаться к себе, в отдельное крыло замка, и заниматься всем тем, чем занимаются дети, пока достаточно не подрастут, чтобы ужинать со взрослыми.

С другой стороны, Рене с самого начала обожала отца. Граф Морис де Фонтарс был кавалерийский офицер, драгун, что в те годы без войны обеспечивало скорее церемониальный статус, — мужчина представительный, jovialный, с необычайно крупной круглой головой и залысинами, которые подчеркивали высокий лоб, унаследованный и самой Рене. Большой любитель лошадей, охоты, женщин и хороших манер, граф был поистине душка, правда безвольный и не отягощенный излишне острым умом. Он обзавелся огромным запасом афоризмов, подходящих почти к любым обстоятельствам, и любил повторять их при всяком удобном случае. «В жизни есть два больших удовольствия, — говаривал он за сигарами и коньяком. — Высокое происхождение и большое состояние».

Но при всем своем аристократизме граф де Фонтарс обладал фантастическим темпераментом и был особенно непримирим к любым несоблюдениям этикета по отношению к женщинам. В округе он славился тем, что вызывал других мужчин на дуэль за малейшие — подлинные или мнимые — проступки перед слабым полом. Несмотря на дородность, он превосходно фехтовал и однажды срезал городскому мяснику кончик носа, решив, что этот человек неучтив с графиней.



Хотя Рене разочаровала графа, который рассчитывал на сына и наследника, она была пухленькой, улыбчивой, жизнерадостной девчушкой и быстро его покорила. Однако в те времена отцы имели очень мало касательства к воспитанию дочерей, и главными занятиями графа оставались лошади, любовницы, закадычные друзья и управление охотничьими угодьями.

В результате раннее детство Рене прошло главным образом в компании домашних слуг, в первую очередь гувернантки, де-белой англичанки мисс Хейз, а вовсе не с родителями. Другими товарищами ее детства были лошади и собаки — французский бульдог по кличке Кора, который хозяйничал в доме, и Султан, датский дог, который жил на псарне и охранял территорию как сторожевая собака. Когда Рене и мисс Хейз гуляли в лесу, они всегда брали с собой Султана на поводке. И если на пути ненароком попадался бродяга, Рене кричала, чтобы он спрятался, объясняя, что ее пес вырос в приличном обществе и перегрызет горло любому оборванцу.

Словом, детство было весьма одинокое, и впоследствии Рене стала искать себе компанию в современных романах, которые регулярно «заимствовала» в кабинете отца, где он прятал свое личное собрание. Подобно многим аристократам, граф де Фонтарс считал себя и свою семью безмерно выше остального мира, особенно мира коммерции и искусства, каковые, по установленным в его доме правилам, как темы для разговоров были под запретом. Однако втайне граф питал слабость к современным романам таких скандальных авторов, как Колетт и Пьер Луис¹. Поскольку подобное чтение едва ли подходило для девочек, мисс Хейз беспрестанно конфисковала у своей юной подопечной эти произведения, что, конечно же, делало их в глазах Рене лишь еще более заманчивыми.

¹ Колетт Сидони Габриель (1873–1954) — французская писательница, одна из звезд Прекрасной эпохи; Луис Пьер (1870–1925) — французский поэт и писатель-модернист. — Здесь и далее прим. перев.

Короче говоря, Рене росла независимым ребенком, который привык развлекать себя сам, жить собственными фантазиями и обладал в известном смысле бунтарской натурой, черпая мятежность у вольнодумных авторов, каких она читала. Все это разжигало в ней еще и жадное любопытство к миру за стенами Ла-Борна. Она думала, что неплохо бы самой стать когда-нибудь современной романисткой, и, не зная другого мира, принялась изучать жизнь в замке с некой художественной беспристрастностью, смотрела на эту жизнь скорее как на потенциальный фон литературного произведения, а не как на реальный родной дом. Она часто ходила на кухню и в конюшни, следила, что там и как, завела доверительные отношения со слугами, в особенности с Татá, кухаркой, шумной и склочной; эта дюжая бургундка любила красное вино и свою кухню и держала людскую в ежовых рукавицах. Муж Тата, дворецкий Адриан, мужчина осанистый, молчаливый, себе на уме, носил ливрею с фамильным гербом на медных пуговицах и столь же тиранически командовал передней частью дома. Тата и Адриан знали обо всем, что происходило в замке, и кухарка охотно делилась информацией с Рене, в обмен на изрядный запас сплетен, по крупицам собранный в тех частях хозяйства, куда сама Тата доступа не имела. Таким вот образом юная хозяйка и старая кухарка стали завзятыми заговорщицами, и маленькая Рене была единственной во всем замке, кому позволялось заходить на священную территорию кухни Тата.

Из остальной прислуги нельзя не упомянуть Матильду, консьержку и домоправительницу, бесцветную, но сведущую особу, в чьи обязанности входило встречать посетителей Ла-Борна, устраивать балы и иные приемы, приготавливать ночлег для гостей, надзирать над горничными, следить, чтобы в доме в сезон всегда были свежие цветы, и относить наверх подносы, если графиня, как бывало нередко, предпочитала обедать в постели. Наконец, надо назвать и судомойку Анжелику, миловидную худенькую девушку, тихую и застенчивую, но не в меру услужливую. Прочие

служанки и кухонный персонал сменялись слишком часто, чтобы кто-нибудь из господ успевал запомнить их имена или хотя бы лица, они сбегали от взыскательности Адриана и Тата, а также и от легендарных капризов графини.

Из дворовой прислуги в Ла-Борне насчитывалось ни много ни мало пятеро садовников, которые ухаживали за искусными английскими цветниками и лужайками, столь любимыми графиней. А еще, разумеется, Ригобер, добрый старый конюх и кучер. И наконец, Жюльен, юный помощник конюха, сын деревенского кузнеца, низкорослый энергичный парнишка, который с весьма романтической выспренностью присвоил себе имя *Ланселот Озерный*, этакий псевдоним для будущей карьеры первоклассного жокея.

Больше в Ла-Борне заняться было особо нечем, и со временем Рене выведала почти все личные истории и секреты персонала, а равно и большинство известных им секретов насчет своей семьи — включая, разумеется, упорные деревенские толки по поводу ее собственного происхождения, которые лишь укрепили безошибочное детское ощущение, что она и графиня — разного племени.

Не менее ловко малютка Рене шпионила и за родителями, и в замке у нее были укромные местечки, где она могла прятаться и подслушивать завораживающий, а нередко испорченный мир взрослых. Например, каждое утро из городка в Ла-Борн приезжал в коляске, запряженной пони, коротышка-цирюльник Лароз, чтобы побрить графа и доложить ему местные сплетни, столь же непрерываемо надежные, как ежедневная газета. Пока кухонные служанки таскали из кухни наверх кастрюли с горячей водой, чтобы наполнить графскую цинковую ванну, Рене спокойно прошмыгивала сквозь тучи пара и пряталась за занавеской под раковинной.

— Ну-с, что новенького, Лароз? — спрашивал граф, удобно устроившись в горячей ванне, волосатые плечи розовели от жара,

меж тем как коротышка правил бритву и взбирался на табуреточку. Цирюльник Лароз знал в округе всех и всё, что происходило в радиусе шести льё, и, когда их окутывал пар от горячей воды, принимался выкладывать одну за другой скандальные истории: жена мясника, мадам Лаваль, завела интрижку с мэром, господином Даламаром; незамужняя дочка фермера Дюбуа, скромная девица по имени Селестина, забеременела, якобы от деревенского дурачка Бонифаса. Граф обожал подобные сплетни, радостно хихикал и восклицал, а иной раз громко хохотал над самыми смачными подробностями, так что Лароз поневоле ворчал:

— Осторожно, господин граф, не дергайтесь, не то я пережеву вам горло!

— Ах, Лароз, уж не примкнули ли вы к революционерам? — шутил граф.

Но собственные интриги граф плел внизу, у себя в кабинете, где Рене пряталась под английским диваном, ножки которого были достаточно высокими, чтобы под ним аккуратно поместилось ее маленькое детское тело. Она всегда опасалась, что однажды старый друг ее папа, Балу, краснолицый, рыжеволосый толстяк, усядется на этот диван и раздавит ее, как виноградину.

Дядюшка Балу, как его называла Рене, близко дружил с графом еще с тех времен, когда оба мальчишками учились в школе у иезуитов. Своих денег Балу не имел — главным его достоянием был неисчерпаемый запас забавных историй да грубоватых шуток, — и по шесть месяцев в году он жил нахлебником у де Фонтарсов, служил графу сводником и наперсником, графине — мальчиком на побегушках, а всем домашним — таким придворным шутком.

Из-под английского дивана Рене слушала, как ее отец и Балу обсуждали женщин, лошадей и охоту (ни о чем другом они почти не говорили) и замыслили романтические эскапады, подробности которых прямо-таки завораживали Рене.

— Скажи-ка, дружище, — как-то раз начал граф, обращаясь к Балу. — Я положил глаз на дочку деревенской белошвейки,

кажется, девочку зовут Жанетта. Ты не видел ее в последнее время?

— Отчего же, Морис, видел, конечно, — отвечал Балу, одобрительно кивая. — Год назад еще бутончик, а теперь вдруг — прелестный цветок. Но, друг мой, я на собственном опыте убедился, что раннее цветение длится недолго. Скоро она станет такой же толстой и измученной заботами, как и остальные местные бабенки. Пока она еще в цвету, мне, наверно, стоит ради тебя потолковать с ее мамашей?

— Она как будто бы женщина практичная, верно? — спросил граф.

— Не вижу, каким образом мадам Бонна могла бы лишиться девушку удовольствия лично познакомиться с господином графом, — сказал Балу. — Я незамедлительно обо всем позабочусь.

— Отлично, — сказал граф. — Отлично! Ах, что бы я без тебя делал, Балу!

Излюбленный тайник Рене находился в главной гостиной замка, там она пряталась на шелковых подушках в золоченом старинном египетском сундуке, подарке ее любимого дяди, младшего брата графа, очаровательного виконта Габриеля де Фонтарса. Виконт владел в Египте прибыльными плантациями сахарного тростника и хлопчатника и раз в год в охотничий сезон приезжал к родне погостить. Рене обожала дядю Габриеля, который никогда не забывал привезти ей из этой далекой страны сласти и иные экзотические подарки.

Эти тайные наблюдательные пункты открывали Рене всеобъемлющий вид на приливы и отливы жизни Ла-Борна, и она рано начала постигать человеческую натуру. Стала думать о себе как о маленьком всеведущем божестве замка и благодаря своим наблюдениям уверилась, что о сокровенной жизни своей семьи, прислуги и обитателей городка ей известно куда больше, чем им самим, словно они были всего лишь вымышленными персонажами в созданном ею произведении. Она целиком и полностью

властвовала их судьбами и, конечно же, была героиней и сказчицей этой истории.

Рене рано привыкла не удивляться ничему, что говорили и делали взрослые, ничему, что видела и слышала. Усвоила, что человеческие существа несовершенны, способны быть немыслимо тщеславными и лживыми и что вообще не стоит ждать от них слишком много, но не стоит и недооценивать их способность к дурным поступкам. Одновременно она научилась не судить людей за их изъяны слишком строго — приняв во внимание другую из излюбленных графских максим. *«Непростительных поступков не бывает»* — твердил он, тем самым предоставляя всем в замке изрядную свободу.

Весьма яркое подтверждение сей урок получил однажды под вечер, осенью, когда Рене было всего шесть лет. Египетский сундук в гостиной был не только превосходным укрытием для шпионажа за семейством, но еще и уютной норкой, где можно вздремнуть, и в тот день Рене вправду там задремала. Конечно, порой удавалось подслушать кой-какие интересные сплетни, но факт есть факт: жизнь и разговоры родителей и их знакомых — класса, чуждого всякому труду и имевшего, пожалуй, чересчур много свободного времени, — зачастую наводили ужасную скуку и служили прекрасным снотворным.

В тот вечер малютка Рене проснулась от тихих торопливых голосов графини и дяди Габриеля, приглушенных звуков и шума, какого никогда раньше не слыхала. В темноте своего убежища, спросонок несколько дезориентированная, она сначала подумала, что спит, поскольку невнятные воркующие звуки казались каким-то странным чужеземным наречием. А выглянув сквозь щелочку в крышке сундука, увидела картину, которую не забудет до конца своих дней: графиня лежала распростертая на вышитой тахте, растянутый корсет открывал маленькую бледную грудь, поднятые нижние юбки обнажали нежные белые бедра. Виконт стоял меж раскинутыми ногами ее матери,



спиной к Рене, брюки спущены до щиколоток, ягодицы как раз на уровне глаз девочки.

В тот первый раз она была слишком мала, чтобы в точности понять, чем занимались на тахте ее мать и дядя, не знала, что происходило между ними — акт любви или насилия, наслаждения или боли. Они издавали звуки, каких она никогда не слышала, шептали тайные, туманные нежности. Что бы ни представляло собой их безрассудное соитие, Рене уразумела, что это некий глубинный, загадочный союз между мужчиной и женщиной. И помимо простого чувства шока и смятения, девочку волной захлестнули яростная злость и жаркая ревность, что эта холодная, элегантная, отчужденная женщина, столь неловко изображавшая мать, делила такое с ее любимым дядей.

2

Примерно через месяц, когда дядя Габриель уже вернулся в Египет, графиня однажды утром проснулась с тошнотой и сильной болью в животе. Опасаясь аппендицита, граф немедленно вызвал из городка врача, доктора Лаверно, педантичного коротышку с черными нафабранными усами, кончики которых были закручены вверх наподобие бычьих рогов. Осмотрев графиню в ее спальне, доктор спустился в кабинет графа сообщить диагноз. Чтобы не пропустить докторский доклад о здоровье графини, Рене уже успела прошмыгнуть в свое укрытие под английским диваном и навести уши.

— Ах, господин граф, у меня для вас чудесная новость! — сказал доктор Лаверно. — Недомогание вашей супруги несерьезно. Напротив! Это повод для большого торжества.

— Торжества? — с явным недоумением переспросил граф.

— Позвольте мне первым вас поздравить, господин граф! — сказал доктор. — Вы снова станете отцом.



Граф побледнел. Отнюдь не обрадованный новостью, что у него, возможно, наконец-то появится наследник мужского пола, о котором он так долго мечтал, и отнюдь не собираясь предложить доктору бокал шампанского или глоток коньяка, что не мешало бы сделать по столь радостному случаю, он оставил без внимания протянутую руку доктора и отвернулся, явно огорченный.

— Невозможно, — пробормотал он. — Невозможно... Вы совершенно уверены, доктор?

— Конечно, конечно, уверен, господин граф, — отвечал доктор, чья профессиональная гордость была уязвлена сомнением в его диагнозе. — Безусловно.

Пройдет несколько лет, пока Рене подрастет и сумеет осмыслить этот разговор, однако ее младший братик, Жан-Пьер, родился как положено, через без малого восемь месяцев. По-прежнему оставаясь крайне небрежной матерью, графиня явно отдавала маленькому сыну предпочтение перед дочерью, и за это Рене с самого начала возненавидела младенца. Удивительно, что сам граф, который так часто твердил, что мечтает о наследнике, не выказывал к сыну почти никакого интереса. С момента рождения Жан-Пьер все время плакал и часто болел — хрупкий, странноватый младенец с диковинно прозрачной кожей — казалось, сквозь нее заглядываешь внутрь маленького черепа, будто мальчик явился на свет не вполне сформированным.

Консультируясь с парижскими специалистами, доктор Лаверно в конце концов установил, что Жан-Пьер страдает редким заболеванием крови, и когда ему исполнилось всего три года, граф и графиня отправили мальчика вместе с его няней Брижит в Швейцарию, в горы, поскольку сочли, что тамошний климат полезнее для его здоровья. Приезжать домой малышу Жан-Пьеру разрешалось лишь ненадолго, по праздникам, но уже вскоре его стали воспринимать не как члена семьи, а скорее как хворого дальнего родственника, чьи визиты создавали для всех в доме изрядное беспокойство и неудобство.

В особенности Рене, издавна привыкшую быть единственным ребенком, раздражали приезды Жан-Пьера. Его как бы призрачное присутствие и внимание к нему остального семейства подрывали ее веру, что жизнь Ла-Борн-Бланша целиком вертелась вокруг нее. Болезненному младшему братишке с его поразительно светлыми голубыми глазами, глядящими из впалых, желтоватых глазниц, не было места в романтическом современном романе, каким она воображала собственное детство. И словно в подтверждение этого, словно она действительно вычеркнула его из рассказа о жизни семьи, малыш Жан-Пьер умер в Швейцарии незадолго до своего пятого дня рождения, и Рене вновь стала единственным ребенком.

3

Граф де Фонтарс никогда открыто не говорил ни с женой, ни с братом о прелюбодеянии, имевшем место в его доме, и никто из них ни публично, ни в частном порядке не признался, кто настоящий отец бедняжки Жан-Пьера. По правде говоря, семья сомкнула ряды вокруг этого секрета, следуя любимой максиме графини: *«Скандал должен быть минимальным»*.

Факт остается фактом: графиня всегда любила своего деверя. Если бы в юности ей предоставили выбор, она бы вышла за виконта, а не за его старшего брата, но союз с графом был давно предreshен их родителями. Роман с виконтом позволял ей ограничить измену рамками семьи, замка, встречи раз в год — в данных обстоятельствах минимальным возможным скандалом, по крайней мере, так она надеялась.

Но, как обычно, слуги все знали, долго шушукались между собой о странных шумах и тайных свиданиях за запертыми дверьми. Кухарка Тата, зорко примечавшая любой домашний непорядок, даже самый незначительный, первая разузнала обо всем



и, конечно, тихонько поделилась секретом с мужем, столь же благоразумным дворецким Адрианом. Но когда молодая судомойка Анжелика однажды утром застала любовников еще не вполне одетыми после свидания, оставалось только ждать, когда новость дойдет до коротышки-цирюльника Лароза, а это ведь все равно что сообщить о незаконной связи графини и виконта в местной газете. Скоро во всей округе вряд ли бы нашелся хоть один человек, который не слышал бы сплетни о происхождении бедного, обреченного Жан-Пьера, как в свое время сплетни насчет Рене.

Во время последующих ежегодных визитов дяди Габриеля, пока Рене не выросла настолько, что уже не могла уютно поместиться в египетском сундуке, она много раз бывала свидетельницей любовных свиданий матери и дяди в гостиной. Она научилась мириться с этими их свиданиями, неизменно происходившими, когда граф тренировал лошадей или был занят собственными романтическими интрижками за пределами Ла-Борн-Бланша.

В темноте своего все менее просторного убежища Рене постигала язык взрослой любви и, хотя обзор сквозь щелку в крышке был ограничен, наблюдала парочку во всех мыслимых позах и позициях — то почти полностью одетыми, то почти обнаженными, то на тахте, то на полу, а то и прямо на сундуке, где она пряталась, и сердце ее билось так учащенно и громко, что она была уверена: оно выдаст ее любовникам.

В своем раннем вуайеризме Рене усвоила, что простая сила сексуального акта преобразует людей, делает их как бы временно одержимыми. Испуганная и одновременно замороженная, она наблюдала, как ледяная маска безразличия, с каким графиня смотрела на мир и на свою семью, тает в горячке страсти, огромное желание, которое она испытывала к виконту, меняло ее до неузнаваемости, даже для дочери. Рене дала себе клятву никогда не терять голову, никогда не отдаваться страсти так, как ее мать в минуты самозабвения.



Рене приближалась к переходному возрасту, и акт сексуального единения, очевидицей которого она так часто бывала во время ежегодных визитов дяди Габриеля, мало-помалу приобретал для нее новый смысл. Она стала воспринимать физическую красоту дяди, эстетику его тела, гибкого и мускулистого благодаря физическому труду на плантации, совершенно непохожего на полную грушевидную фигуру ее папа. Глядя, как сильные тонкие пальцы дяди Габриеля ласкают тело графини, она начала испытывать возбуждение, сердце билось в груди с новой силой.

И все больше Рене завидовала высокой статной графине с ее изысканно бледной грудью и бедрами цвета слоновой кости, лебединой шеей и идеально округлым торсом. Более того, завидовала пылу ее страсти, завидовала, что эта женщина не впустила в свое сердце, не согрела его тайным жаром дочь, которую никогда по-настоящему не любила.

И в тот последний год, когда Рене еще могла спрятаться в египетском сундуке, во время визита дяди Габриеля произошло вот что. Любовники отдыхали в объятиях друг друга, Рене дремала в сундуке, будто их экзерсисы отняли у нее все силы, но вдруг резко проснулась от их тихого шепота.

— Ты говорил с Аделаидой о разводе? — спросила графиня дядю Габриеля.

— Да, говорил, — ответил виконт. — А ты говорила с моим братом, твоим мужем, дорогая?

— Еще нет. Мне казалось, это бессмысленно, пока ты не решил собственную ситуацию. Так что же ответила твоя жена?

— Как тебе известно, Анриетта, Аделаида приняла в Аржантее постриг. Так что о разводе речи нет. Однако я просил ее согласиться на признание брака недействительным, что представляется вполне резонным, если учесть, что брачных отношений мы вообще не осуществляли.

Графиня иронически рассмеялась:

— Неудивительно, Габриель, она же страшна как смертный грех.

— Зато добра. Этого ты отрицать не можешь.

— И богата.

— Да, и это тоже, — согласился виконт. — Я всегда считал себя счастливым, что получил руку Аделаиды. Как ты помнишь, дорогая, соперников было хоть отбавляй.

— А теперь у тебя плантации в Египте и скаковые конюшни в Ирландии в награду за преданность, дорогой, — сказала графиня. — При том что ты ни разу не занимался с бедняжкой любовью.

— Это было бы уже чересчур, дорогая, думаю, ты со мной согласишься.

— Ты не сказал, как она отнеслась к просьбе признать брак недействительным.

— Увы, и тут ответила отказом. Однако я не оставил надежду, что сумею убедить ее.

— Да, я так и ожидала, потому и не говорила с Морисом.

— Мы поженимся, дорогая, — заверил дядя Габриель. — Обещаю. Это лишь вопрос времени. Мы оба избавимся от брачных оков и, наконец, проживем как муж и жена.

Рене услышала, как виконт поцеловал графиню, и, словно перспектива супружеского блаженства подстегнула обоих, они опять занялись любовью.

Подслушанный разговор очень встревожил Рене. Она успела в целом примириться с романом между матерью и дядей Габриелем и в силу своего вуайеризма даже чувствовала себя как бы его соучастницей. Однако эпопея, какую она писала в воображении, отнюдь не предусматривала возможность, что родители действительно разведутся и графиня выйдет за дядю Габриеля. Рене обожала отца, любила семейную жизнь здесь, в Ла-Борне. И в этот миг ее охватило почти неодолимое желание выскочить из сундука, как чертик из коробки, и крикнуть любовникам: «НЕТ! Вы не можете развестись! Я НЕ позволю!»

Но она, конечно, не выскочила. Зато начала обдумывать другой план, создавать новую сюжетную линию, которая положит конец этому совершенно недопустимому развитию и позволит ей остаться хозяйкой семейной судьбы.

4

К тому времени, когда Рене исполнилось двенадцать, родителям уже стало ясно, что, вопреки любимой поговорке матери, минимальных скандалов от дочери ждать не приходится, скорее всего они будут весьма громкими. Девочка была своевольная, более взрослая и практичная, чем ее сверстницы; правда, граф и графиня вряд ли догадывались, что большую часть своих житейских познаний она почерпнула, годами шпионя из разных укрытий за самой интимной их жизнью.

Хотя граф, разумеется, никогда не привозил своих любовниц в Ла-Борн, Рене, подслушивая в кабинете, знала, что и он частенько беспардонно изменял жене. К примеру, роман с дочерью белошвейки продолжался уже несколько лет, а начался он после долгих переговоров между Балу и матерью девицы, мадам Бонна, ушлой особой, которая понимала финансовые и общественные выгоды подобной связи и в обмен на честь дочери выторговала серьезную сделку. Роман продолжался и после того, как девицу выдали за молодого помощника фармацевта, который поселился в городке недавно и, вероятно, единственный во всей округе ничего о сделке не знал. Таким образом, граф по-прежнему пользовался своим *droit de seigneur*², меж тем как девица и ее семья по-прежнему получали хорошее вознаграждение, из чего Рене извлекла очередной ценный урок касательно зачастую банальных экономических реальностей романа и секса.

² Право господина (фр.).

Однажды под вечер тем летом, когда ей исполнилось двенадцать, граф застал дочь в пустом деннике с парнишкой-конюхом Жюльеном, который был на год-другой постарше Рене. Оба они были полностью одеты, но Рене держала в руке возбужденный пенис парня, холодно и бесстрастно, как профессиональная сиделка. Вообще-то ей просто было любопытно поближе рассмотреть эту штуку, которую в ограниченном поле зрения египетского сундука ей никогда не удавалось толком разглядеть.

— Господин граф! — вскрикнул Жюльен, вскакивая на ноги и пряча пенис в штаны.

— Что это значит? — взревел граф, хлестнув мальчишку стеком. — Вон! Вон! Прочь из моего имения! Сию минуту! Ты уволен! И если когда-нибудь ступишь на мою землю, я тебя убью!

Граф так разгорячился, что продолжал лупить Жюльена, а тот прикрыл голову руками и старался увернуться от ударов. Услышав шум, из соседнего помещения, где чистил седла, прибежал старик Ригобер.

— Ригобер! Этот малый приставал к моей дочери! — рявкнул граф, красный от ярости. — Убери его с моих глаз, пока я не забил его до смерти, как собаку!

Затеяла все Рене, а сполна расплатиться за нарушение отношений «слуга — хозяин», конечно же, пришлось Жюльену. На следующее утро парнишка украдкой прошмыгнул в усадьбу сказать последнее прости, с рюкзачком, набитым нехитрыми пожитками. Рене встретила его в конюшне на рассвете.

— Куда ты пойдешь, малыш Ланселот? — спросила она, польстив парнишке тем, что назвала его «профессиональным» именем.

— В Лоншан, в скаковые конюшни, — важно ответил Жюльен. — Я так и так собирался уйти отсюда. Надеюсь начать хоть младшим учеником, а в конце концов стану первоклассным жокеем.

— Откуда ты знаешь, что тебя возьмут? — спросила Рене. — Ведь отец, ясное дело, не даст тебе рекомендательного письма.



— Да, это уж точно.

— Я когда-нибудь увижу тебя?

— Как только стану первоклассным жокеем, барышня Рене, — галантно ответил Жюльен, — я вернусь и попрошу вашей руки.

Рене невольно рассмеялась нелепым романтическим фантазиям парнишки.

— Но папа никогда не отдаст меня за жокея, даже за первоклассного, как и за конюха. — Она не стала унижать парнишку еще сильнее, не добавила, что и сама тоже рассчитывает на нечто более высокое.

Между тем граф и графиня, посоветовавшись, решили, что, как только Рене достигнет совершеннолетия, надо будет поскорее выдать ее за молодого человека с подходящим положением, в надежде, что худшие из неизбежных грядущих скандалов произойдут, по крайней мере, не в их доме.

— Она станет дешевой шлюшкой, Морис, — сказала графиня, когда граф сообщил ей про инцидент с помощником конюха. — Это ясно. Я с самого начала подозревала, что так оно и будет.

— Прошу вас, Анриетта. Позвольте напомнить: та, о ком вы говорите так холодно, наша дочь.

На это графиня только поджала губы и фыркнула:

— Пффф, от нее одни только неприятности, с самого начала. И если мы не найдем воспитанного молодого человека, чтобы сбыть ее с рук, нам придется отослать ее в монастырь. Монахини усмирят ее дикий нрав.

— Я не хочу, чтобы мою дочь воспитывали монахини.

— В таком случае вы рискуете, что она устроит огромный семейный скандал, вы, Морис, даже представить себе не можете какой, — предостерегла графиня. — Помяните мое слово.

Той осенью, вскоре после того как Рене сравнялось тринадцать, дядя Габриель, приехавший с ежегодным визитом из Египта, впервые заметил, что его маленькая племянница взрослеет. Они

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА.....	9
ПРЕДИСЛОВИЕ	11
ПРОЛОГ	
МАРИ-БЛАНШ. Лозанна, Швейцария. Март 1966 г.	21
КНИГА I	
РЕНЕ. 1899–1922	27
Ла-Борн-Блани, Орри-ла-Виль, Уаза, Франция. Июль 1899 г.	28
Париж, Франция. Октябрь 1913 г.	65
Каир, Египет. Ноябрь 1913 г.	80
Армант, Египет. Декабрь 1913 г.	104
Каир, Египет. Декабрь 1913 г.	121
Армант, Египет. Январь 1914 г.	137
Каир. Апрель 1914 г.	158
Армант, Египет. Май 1914 г.	166
Париж. Июнь 1914 г.	185
Биарриц. Август 1914 г.	230
Кразу-Верган, Бретань. Октябрь 1916 г.	254
Париж. Октябрь 1918 г.	270
Париж. Ноябрь 1918 г.	291
Ле-Пръёре, Ванве. Кот-д'Ор, Бургундия	300
КНИГА II	
МАРИ-БЛАНШ. 1920–1966	311
Ле-Пръёре. Ванве, Кот-д'Ор. Апрель 1920 г.	312
Замок Марзак.	
Тюрзак-ан-Перигор, Франция. Декабрь 1928 г.	330
Херонри. Уитчёрч, Гэмпшир, Англия. Лето 1933 г.	373
Херонри. Декабрь 1933 г.	396
Лондон. Декабрь 1937 г.	423

<i>Чикаго. Сентябрь 1938 г.</i>	<i>446</i>
<i>Дейтон, Огайо. Ноябрь 1940 г.</i>	<i>475</i>
<i>Кэмп-Форрест. Таллахома, Теннесси. Ноябрь 1941 г.</i>	<i>493</i>
<i>Сен-Тропе. Июль 1955 г.</i>	<i>514</i>
 РЕНЕ. Лейк-Форест, Иллинойс. Октябрь 1996 г.	 533
МАРИ-БЛАНШ. Лозанна, Швейцария. Март 1966 г.	539
 ЭПИЛОГ	
Лозанна, Швейцария. Июнь 2007 г.	553

Первый роман автора мировых бестселлеров Джима Фергюса, «Тысяча белых женщин: дневники Мэй Додд», был опубликован в 1998 году. Роман получил награду как «Лучшая художественная книга 1999 года» и премию книготорговцев. С тех пор было продано более 1 000 000 экземпляров в Соединенных Штатах, а французский перевод, получивший приз «Лучший иностранный роман», возглавлял список бестселлеров в течение 57 недель и разошелся во Франции тиражом свыше 400 000.

На русском языке были изданы его романы «Тысяча белых женщин: дневники Мэй Додд» (ИД «Флюид ФриФлай», 2016) и «Память любви», получивший премию читателей «Лучшая книга месяца» (ИД «Флюид ФриФлай», 2018).

«Дикая девочка: Записные книжки Неда Джайлса» также была восторженно принята читателями, критиками и книжными клубами. Уинстон Грум, автор «FOREST GUMP», назвал ее «волнующей и напряженной историей, которая заставляет сердце биться».

«Мари Бланш» — незабываемая семейная фреска, охватывающая почти весь XX век и три континента: автор мировых бестселлеров Джим Фергюс подтверждает свой исключительный талант рассказчика и предлагает нам шедевр, наполненный редкой силы эмоциями.

Через дневник своей матери писатель вводит нас в ее частную жизнь, которая начиналась как сказка, но постепенно приобрела вид трагедии. Он вписывает сокровенное в исторический контекст, затрагивая многие темы эпохи, такие как браки по расчету, неверность, инцест, педофилия, ценности аристократии.

Хотя в этой книге немало реальных имен и правдивых историй, подлинных исторических фактов и событий, вместе с тем она — художественное произведение, роман, плод воображения, помогающий автору примириться с тем, что ранило его в повседневной жизни.